

СТАТЬИ ИЗ СБОРНИКА “ИЗ ЖИЗНИ ДУХА”  
(Варшава, 1935)

*Н.С. Арсеньев*

ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ  
ТВОРЧЕСТВА ДОСТОЕВСКОГО

(Речь, произнесенная в Кракове,  
w Towarzystwie Badan Wshodnich  
(при Краковской академии наук), 15 марта 1931 г.)

“Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление Русского духа, сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое”. Этими словами начал Достоевский свою знаменитую Пушкинскую речь. В этих словах определение “и пророческое” в еще большей степени применимо к нему самому.

В связи с юбилеем Достоевского в 1931 г. целым рядом лиц опубликованы были их воспоминания об этом его знаменитом выступлении на пушкинских торжествах 1880 г. Глубоко между прочим поразило и потрясло всех присутствовавших то, как он потом, после речи, прочитал пушкинского “Пророка”: в последнем пушкинском стихе слово: “жги” (“глаголом жги сердца людей”) было им как бы брошено со всею силою в толпу, как удар бича по сердцам слушающих. И из вдохновенной, поразительной речи его и из того, как он прочитал пушкинского “Пророка”, чувствовалось присутствующим, что говорит власть имеющий человек, сам одаренный даром пророческим. И это впечатление тогдашних слушателей и современников не только живо, но и утвердилось и укрепилось у потомков.

Три основных темы занимали Достоевского с особой силой, особенно на вершинах его творчества и его жизни: 1) отношение русской самобытности к западной культуре – тема славянофилов и западников; далее – 2) глубокий дуализм Русской народной души, т.е. борьба двух начал – темного и светлого, два полюса в этой душе; и, наконец, 3) самая важная, самая основная тема – мировая по своему значению, самая глубокая тема, которая господствует над всем, от которой зависит все отношение к жизни, как жизни собственной, так и жизни мира, – вопрос об отношении мира и Бога, вопрос о зле в мире, вопрос, можно ли с этим злом, царящем в мире, совместить веру в Бога, можно ли вообще верить в Бога.

Что касается первой темы – темы западников и славянофилов, отношения русской народной жизни к Западу, то здесь имеем у Достоевского ряд колебаний, ряд эксцессов мысли и чувства – в сторону безмерного и нетерпимого национализма. А наряду с этим вспо-

минаются слова Версилова из его “Подростка”, что истинный Русский и есть истинный европеец, что в этом духовное призвание Русского и Русской культуры – чувствовать себя духовно сродненным со всем самым лучшим, самым ценным, что есть в западной культуре: это уже предвосхищение того, что высказал Достоевский в своей Пушкинской речи.

В его Пушкинской речи призвание Русского человека является вселенским, его отношение к культуре и жизни Запада берется под углом вселенскости, христианского универсализма. Интимнейшие тона Хомяковского учения о вселенскости жизни Церкви и о призвании Русского народа быть глашатаем этого братского вселенского единения силою Духа Божия\*, – тона, которыми отчасти была вскормлена мысль Достоевского, мощным потоком прорываются в этом последнем, особенно ярком и выпуклом его выступлении перед лицом всей мыслящей России, выступлении, которое явилось бы завещанием его. “Ибо что такое сила духа Русской народности, – читаем мы здесь, – как не стремление ее в конечных целях своих, ко всемирности и всечеловечности. Да, назначение Русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим Русским, стать вполне Русским, может быть, и значит стать братом всех людей, **всечеловеком**, если хотите...” Возможно, что тут много утопии и преувеличения, и идеализации, не соответствующей фактам; во всяком случае Достоевский стремится к преодолению розни и борьбы мнений и направлений в высшем синтезе.

Но с этой темой неразрывно связана другая: роль вселенского служения, которая преодолевает рознь между славянофильским и западническим толкованием призвания Русского народа, возможна лишь тогда, когда в самой душе Русского народа **одержана победа** – светлого начала над темным.

Достоевский ярко сознает, переживает и чувствует эти огромные потенциальные контрасты, этот основной – страшный – дуализм, дремлющий в душе Русского народа, – этот бунтующий, мятежный, бесформенный хаос, не признающий стеснений, когда он прорвется наружу, этот дикий разгул, это опьянение собственной хмельной, жестокой и самоубийственной свободой, эту дикую жестокость (вспомним сцену, как мужики стегают лошадь кнутом по глазам и медленно забивают ее до смерти), этот дерзкий мятеж про-

---

\* Ср. У Хомякова (в стихотворении “России”):

О, вспомни свой удел высокий  
Былое в сердце воскреси,  
И в нем сокрытую глубоко  
Ты духа жизни запроси,  
Внимай ему – и, все народы  
Обняв любовью своей,  
Скажи им таинство свободы,  
Сиянье веры им пролей.

тив своей же святости, эту временную как бы одержимость, столь свойственные нередко Русской душе. И наряду с этим – жажда Бога и святости, и святого и чистого, часто даже в глубинах падения, – и укоренение, глубокое укоренение жизнью в высшей действительности у этих покаявшихся “Власов”, покаявшихся грешников, у этих старцев, подвижников – Зосимы, Макара Ивановича, Епископа Тихона (Тихона Задонского) и многих других. Достоевский лучше других умеет изобразить эти противоположности в духовной жизни Русского народа, особенно это стремление заглянуть в бездну, глубины падения Русского человека.

Глубине дикой, разнузданной Карамазовщины, дикому безобразному безудержу противопоставляется просветление, преодоление темного начала силою перерождающей, охватывающей души Любви. “Смирение любовное – страшная сила”. Преодоление злого, бесовского хаоса высшим, исцеляющим, просветляющим началом – силою Христовой, – вот что предносится пылливому взору Достоевского, когда он думает о будущих – может быть – глубоко трагических судьбах своего народа в “Бесах”. Исцеленный от бесов больной – наша Россия, поясняет Степан Трофимович, “сядет у ног Иисусовых... и будут все глядеть с изумлением...” Это преодоление темного начала светлым в душе народа возможно лишь силою свыше.

\* \* \*

Как ни любил Достоевский горячо и беззаветно свой народ, эта страстно захватывающая его проблема будущего его народа, его призвания, его судеб, отступает по важности на второй план перед безмерно более важным и более мучительным вопросом: есть ли смысл жизни и жизни вообще? Есть ли Бог?

Эта проблема, “мучившая его всю жизнь, – бытие Бога”. Пишет он Аполлону Майкову. Мы знаем о муках сомнений его героев, мы знаем, как он сам мучительно и остро переживал – гипотетическую пустоту и бессмыслицу мира... если Бога нет. Вспоминается ужас Паскаля: “Le silence de ces espaces infinis m’effraie”.

Достоевский внутренне перечувствовал ужас безбожия, ужас бессмыслицы в таком случае жизни и мира. Эти мысли встают у Достоевского, например, при описании картины Маттиаса Грюнвальда в доме Рогожина – снятие обезображенного тела Христова со креста: “Природа мерещится при взгляде на эту картину, – пишет Достоевский, – в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя, или вернее, гораздо вернее сказать, хоть и странно, – в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и проглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное Существо – такое Существо, Которое одно стоило всей природы и всех законов ее, всей земли, которая и создавалась-то, может быть, единственно для одного только

появления этого Существа. Картиной этою как будто именно выражается это понятие о темной, наглой и бессмысленной – вечной силе, которой все подчинено”.

Впрочем, и в периоды наиболее острого сомнения, чрез которые прошел Достоевский, у него оставалась одна горячая, неизменная любовь, один момент страстно напряженного внутреннего непроборимого опыта, внутренней уверенности, который является для него поддержкой, из которого возродилась и обновилась его вера в Бога.

Замечательно и характерно его письмо к жене декабриста Фон-визина, помогавшей ему, когда он был на каторге, письмо, написанное им по выходе его из острога – в начале марта 1854 г.: «...скажу Вам, что в такие минуты жаждешь, как “трава иссохшая”, веры и находишь ее собственно потому, что в несчастье яснее истина. Я скажу вам про себя, что я – дитя века, дитя неверия, и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И однако же Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен ...в такие минуты я сложил себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревливой любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа. То мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной».

Эти слова звучат крайним агностицизмом. Но это – лишь кажущийся агностицизм: здесь под покровом сомнения – огромная сила, сила огромной, парадоксальной, может быть, не вполне еще осознавшей себя – **веры**. Христос дороже мне вашей “истины”, ибо в Нем жизнь – творческая, живительная жизнь для души, – вот конечный скрытый смысл этих слов. Так и в последний период своей жизни Достоевский заносит в свою записную книжку в весьма сходных выражениях: “Кавелину... Подставить ланиту, любить больше, чем себя – не потому, что полезно, а потому, что нравится. До жгучего чувства. До страсти. Христос ошибался – доказано! Это жгучее чувство говорит: лучше я останусь с ошибкой, со Христом, чем с вами”.

По своему парадоксализму, по своему конечному скрытому смыслу, или, вернее, по своей конечной направленности эти слова приближаются к словам Павла: “Мы же проповедуем Христа распятого – для иудеев соблазн, для эллинов – безумие, для самих же званных – иудеев и эллинов – Христа, Божию силу и Божию премудрость”. Это не догматика у Достоевского, это – адогматическое, даже, казалось бы, на вид совершенно агности-

ческое, несвободное, казалось бы, от сомнений, но тем не менее не считающееся с сомнениями, преодолевающее все сомнения, подневольное – ибо не теоретическое, а жизненное свидетельство о **покорившей его силе**, свидетельство о том, что он **ощутил**, как реальность.

\* \* \*

Достоевский знает, что без Бога жить нельзя. Но главный источник сомнения у Достоевского: зло в мире, господство зла в мире. “Я не Бога не принимаю, а мира, Им созданного мира, мира-то Божьего, не принимаю”, – говорит Иван Карамазов. Почтительнейше свой билет на вход он возвращает обратно. Достоевский старается устами Ивана подобрать ряд фактов, особенно возмущающих наше нравственное чувство – муки и пытки невинных детей. Можно ли верить, что Бог допускает эти ужасы? Может ли удовлетворить нас идея будущей гармонии? Слишком дорого эта гармония покупается, мы не можем столько заплатить за нее.

Здесь весь ход мысли, вся страстная аргументация Достоевского особенно для нас жива, особенно животрепещуща. Это – самая основная, самая глубокая, самая важная его тема, основа его творчества, его изначальный, основной кошмар и вместе с тем его изначальное вдохновение. Он не может молчать. Вспоминается древний псалмопевец: “В мыслях моих возгорелся огонь, и я стал говорить языком моим... Вот, Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред Тобою”. Но еще более вспоминается Иов, это – сила и напряжение Иова. Достоевский, как современный Иов, начинает тяжбу с Богом: во имя страдания не одного лица, а страдания мира. Это как бы страстный голос страдающего человечества, поднимающийся к Богу и требующий ответа и правды.

Ответ дается Достоевским – в тайне Креста. Бог не далеко, не в надмирном величии только, не в грядущей славе и гармонии только откроется Он нам – Он снизошел в глубину страдания и освящает ее для нас. Страдание есть проповедь о близости Бога, в нем переживается благодатная мистическая реальность Креста.

“Брат, – провозгласил вдруг с засверкавшими глазами Алеша, – ты сказал сейчас: есть ли во всем мире Существо, которое могло бы и имело бы право простить? Но Существо это есть, и Оно может все простить, всех и вся **и за все**, потому что Само отдало неповинную кровь Свою за всех и за все. Ты забыл о Нем, а на Нем то и созиждется здание...”

Крест Христов есть ответ на проблему зла и страдания мира: он утверждает реальность присутствия Бога здесь, с нами в страданиях и муках, на кресте, пред лицом смерти. Крест есть преодоление проблемы зла – победной реальностью Божией, близостью Страдающего... и Воскресшего.

В муках религиозных гонений, в кошмаре Советской России раскрылась заново не теоретически, а с побеждающей силой реальность, подлинность бытия Божия – во внутреннем опыте Креста. Об этой реальности Божией, раскрывающейся в мире среди страданий и мук наших, об этой силе, просветляющей мир и осмысляющей мир и жизнь, свидетельствовал Достоевский, не теоретически, не заученно-догматически, а потому, что он был покорен ею.

Он с несравнимой, с небывалой в человеческой мысли силой поднял проблему зла и осмелился во имя чувства этической правды начать тяжбу с Богом, поднять крик отчаяния и сомнения – и получил ответ... в реальности Бога, раскрывающейся в страданиях мира (силою Креста). Реальности, вошедшей в мир и потому просветляющей мир и страдания его. «Меня дразнили необразованной и ретроградной верой в Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицания Бога, какое положено в “Инквизиторе” и в предшествовавшей главе, которому ответом служит весь роман. Не как дурак же (фанатик) я верую в Бога...» (Из “Записной книжки”, под заголовком “Карамазовы”. См. в “Материалах к Бесам” (разговор Ставрогина с Шатовым): «Источник жизни и спасение от отчаяния всех людей и условие *sine qua non* для бытия всего мира заключается в трех словах: “Слово плоть бысть”, и веру в эти слова».

## В Л А Д И М И Р С О Л О В Ь Е В

Загадочным до известной степени встает перед нами образ знаменитого русского философа и богослова В.С. Соловьева, со дня кончины которого (30 июля 1900 г.), в этом году, исполнилось 25 лет. Много он возбуждал споров, вызывая к себе различное отношение и рождая колеблющиеся оценки. После периода чрезвычайного увлечения Соловьевым религиозно-настроенными кругами нашего образованного общества (отметавшими, однако, католические тенденции Соловьева, которые, правда, являлись в глазах этих русских религиозных кругов чем-то несущественным, случайным в облике Соловьева, что вряд ли вполне верно), после этого периода увлечения Соловьевым, наступил для него период менее сочувственной оценки, более суровой критики. А главное, по-видимому, он стал, в известной мере, чужд новым поколениям религиозно-чувствующих и мыслящих кругов русского общества, стал им мало понятен, гораздо менее понятен, чем Достоевский и Хомяков; особенно последний, со своим глубоким проникновением в мистическую жизнь Церкви становится нам все более доро-